

реальные истории из жизни современных писателей



БОЧКОВ ВАЛЕРИЙ • **ВИШНЕВСКИЙ** ВЛАДИМИР

ГУБЕРМАН ИГОРЬ • **КРЮКОВА** ЕЛЕНА

КУЗЕЧКИН АНДРЕЙ • **ЛАВРЕНТЬЕВ** МАКСИМ

ЛАНДАУ БЕРТА • **ЛУНИНА** АЛИСА

МЕТЛИЦКАЯ МАРИЯ • **МИРОНИНА** НАТАЛЬЯ

НЕСТЕРИНА ЕЛЕНА • **ПЕТРОВ** СЕРГЕЙ

ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА • **РАЙТ** ЛАРИСА

ПОКРОВСКАЯ ОЛЬГА • **РОЙ** ОЛЕГ

ТРОНИНА ТАТЬЯНА • **УЛЬЯ** НОВА

ЧИЖ АНТОН • **ЩЕГЛОВА** ИРИНА

СПАСИБО!

*Посвящается тем,
кто изменил наши жизни*

Перемены к лучшему

Олег Рой

**Спасибо! Посвящается тем, кто
изменил наши жизни (сборник)**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рой О. Ю.

Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни (сборник) /
О. Ю. Рой — «Эксмо», 2018 — (Перемены к лучшему)

ISBN 978-5-04-091074-8

Как сложно иногда произнести самые простые и самые важные на свете слова – «прости», «люблю», «спасибо»!.. Даже не важно, услышит ли их тот, кому они предназначены, важно, что крупица добра, искренности и благодарности способна согреть многих и многих людей, пробудить в душах сопереживание, помочь самому стать немного внимательнее к окружающим. В этом сборнике собраны пронзительные рассказы из реальной жизни современных писателей. Людмила Петрушевская, Олег Рой, Мария Метлицкая, Владимир Вишневский и многие другие раскрывают свои секреты и готовы публично произнести слова любви и благодарности.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091074-8

© Рой О. Ю., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Людмила Петрушевская	6
Никогда не забуду	7
Андрей Кузечкин	10
Аня	11
Максим Лаврентьев	16
Сальери в пионерлагере	17
Валерий Бочков	20
Хрустальный глаз	21
Алиса Лунина	33
Письма к Орфею	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни (сборник)

*Большое спасибо Яковлевой Ольге,
оказавшей помощь в формировании данного сборника,
всем специалистам – сотрудникам издательства и типографии,
участвующим в процессе его издания,
а также всем тем, кто его прочтет.*

Людмила Петрушевская

Людмила Петрушевская пишет, как она выражается, все – и добавляет: «Кроме доносов». Изобретает новый язык и сочиняет на нем цикл сказок. Выступает с концертами как певица, автор и композитор, устраивает выставки своих работ и за все это получает премии: Государственную премию, независимую премию «Триумф», театральную «Станиславский», премии Бунина, Гоголя, Довлатова, немецкую Pushkinpreis, американскую World Fantastik Award, русско-итальянскую «Москва – Пенне» и др.

Никогда не забуду

Инна Петровна Борисова, вот кому я прежде всего обязана.

Я в 1967 году написала свой первый настоящий рассказ «Такая девочка, совесть мира».

Тогда я работала в журнале с пластинками, он назывался «Кругозор». Располагалась наша редакция на радио, на втором этаже, и я туда перешла из редакции «Последних известий», находившейся на четвертом, где перед тем работала корреспондентом и бегала с «крупорухой» (так мы называли восьмикилограммовый магнитофон) по всяким культурным мероприятиям, открытиям выставок в частности, и делала двухминутные репортажи или писала на полстранички «сюськи», информашки, в вечерний или ночной выпуск новостей.

Никому в нашей стране это было не нужно. Люди слушали радио ради прогноза погоды и футбола. А все эти последние известия, новости жизни, у нас были в основном из области промышленности и сельского хозяйства. Где чего запустили и что опять начали сев раньше прошлогоднего.

Отдел культуры считался в редакции излишним. От меня спрашивали только цифры и факты – тогда-то, там-то, название, столько-то, до такого-то числа. Требовалось сухо и кратко изложить новость.

Первую «сюську» я по неведению (и послушав радио) постаралась написать иначе – получше, как бы привнести лирику в культурные новости. И она начиналась так: «Тихие воды медленных северных рек, костры по ночам». Дальше следовала информация, что это – картины такого-то художника, которые можно посмотреть там-то с сегодняшнего дня и по такому-то числу. И этих картин столько-то.

Короче, диктор (кажется, Высоцкая) сбилась после первой же фразы. Начала она очень по-деловому, быстро и четко (ну как «вторая очередь домны задута на Верхнезадрипенском комбинате»), а потом как бы призадумалась: а что это я, граждане, вам читаю? Какие-такие тихие воды, черт меня дерит? И дальше она произносила текст как-то недоверчиво и придиричливо. Вот так и завершилась моя революция.

Я опозорилась, и в редакции меня прозвали «ну ты, Паустовский».

Разумеется, я пыталась писать для себя, в тетрадках в клеточку. Один рассказ моя подружка, Марина Левитанская, с которой мы вместе работали, отдала известному критику, и тот ей сказал, что Ахмадулина по сравнению со мной – талантливая графоманка. Приехали.

Но поскольку рассказ был в одном экземпляре, я договорилась с критиком по телефону, что заберу рукопись. И мы познакомимся.

Поехала я после работы на метро «Аэропорт» в писательские дома. С благоговением нажала на кнопку звонка. Дверь открыла жена критика, которая протянула мне рукопись со словами «мы уже легли». Жена оказалась с очень большой голой грудью, но в трико телесного цвета. Я дико испугалась и больше никогда в эту дверь не звонила. Что и требовалось.

Это уже были нравы Союза писателей, с которыми я время от времени поневоле знакомилась. Голая жена это ладно, но когда после пирушки на одной известной даче в Коктебеле тебя у выхода берут за локоток, останавливают и ведут обратно за стол, а там сидит знаменитый поэт, который весь вечер не давал никому слова сказать, все выступал, и только Виктору Некрасову однажды дал такую возможность, спросив его: «Вика. А я буду писать прозу?» На что строптивый Некрасов ответил: «Да». А теперь этот поэт мрачно ждет тебя для продолжения банкета... А ты испуганно бормочешь, что у тебя сейчас автобус, ты не можешь. И когда ты выбираешься на улицу, то выясняется, что вся толпа гостей ждет у калитки, чем дело кончится. Останется на ночь эта ваша хваленая Петрушевская или нет.

В 1964 году я ушла из «Последних известий», меня приняли на работу в звуковой журнал «Кругозор», а той же осенью мой муж разбился в экспедиции, перелом позвоночника, паралич.

Начались хождения по мукам, больницы, наш сынок Кирюша в полтора годика после прививки заболел, пошли у него удушья, бронхиальная астма. Главное, что я не могла взять беспомощного мужа к себе, ему нужна была отдельная комната, а у нас в квартире имелось их только две – в маленькой жила мама, у нее началась шизофрения, боязнь милиции и машин «Скорой помощи» – все это на почве пожизненного страха, что она член семьи врагов народа, она всю жизнь это скрывала в анкетах. А в большой комнате жили мы с Кирюшей.

И мой Женя в промежутках между больницами кое-как обитал у родителей. А им это было в тягость. И они (номенклатурные работники, папаша когда-то числился замминистра госконтроля) еще боялись, что и я с Кирюшей у них поселюсь – а квартира их находилась в высотке на Котельнической набережной, огромная, в сто метров. Они не хотели, чтобы она превратилась в коммуналку. Поэтому нам с сыном там бывать и тем более жить запрещалось. Женя почти не видел своего сына. Меня даже в конце концов выгнали с ребенком и Женей из этой высотки, и хорошо, потому что я от беды сняла квартиру где-то на окраине, и последние годы своей жизни Женя прожил с нами.

Но это уже произошло потом. А пока что мы так и жили, и я видела одни страдания.

И я написала рассказ «Такая девочка». Я сидела на бюллетене дома, больной Кирюша днем заснул, и ко мне пришла первая фраза. И я вдруг поняла, что у меня полтора часа времени и надо быстро работать. Схватила за свою тетрадку. На следующий день ситуация повторилась, я уложила ребенка и продолжала писать как в лихорадке. Позвонила подружка, я ей сказала, что говорить не могу, у меня тут ОНА вешается. И нажала на рычаг телефона, а трубка, как я потом обнаружила, так и повисла. Когда Кирюша проснулся, дело было сделано, трубку я вернула на место, и тут прорвалась испуганная подружка с криком «кто вешается?».

Этот рассказ не давал мне покоя, он требовал места под солнцем. И его отнес в журнал «Новый мир» поэт Женя Храмов, мы вместе с ним работали в «Кругозоре».

Спустя небольшое время мне позвонила из «Нового мира» редактор Инна Борисова. Она мне что-то такое сказала, что я просто решилась разума. Именно решилась разума. Главное, что я даже некоторое время не осмеливалась писать.

Вскоре я пошла в журнал, в тот святой дом на Пушкинской площади, в закоулке за кино-театром. Куда я стала ходить и все последующие годы. Я и писала-то для Инны Борисовой. Получив от меня очередной рассказ, она, отодвинув все рукописи (а работа у них в отделе была каторжная), сразу его читала. И по ее лицу я видела, чего он стоит.

Это самое главное для писателя – кто ждет от него рукопись и с какой надеждой.

Инна складывала мои рассказы в особую папочку. И однажды она мне сказала: «Если бы вы, Люся, знали, в какой хорошей компании вы у меня лежите в шкафу».

С ее подачи главный человек в отделе прозы, Анна Самойловна Берзер, знаменитая «Ася из Нового мира», тоже стала читать все, что я приносила.

И они с Инной задумали диверсию – когда главный редактор, поэт Твардовский, уехал в командировку, они сунули три моих рассказа в журнал. Рассчитывая, что главный не успеет прочесть декабрьский номер. Но он вернулся и быстро стал читать. И начал править мои рассказы. Везде, где у меня в первом рассказе он находил слово «пьяный», т. е. в трех местах, он это слово зачеркивал и писал «выпивший». Потом, видимо, понял бесполезность этого занятия и мои рассказы из верстки убрал... Прошел месяц, и в январе он меня вызвал, мы с ним (он со мной) проговорили три часа, он рассказал мне свою жизнь и объяснил, почему вынул мои рассказы из номера, – «мне нечем было бы вас защищать».

Я потом даже написала ему письмо – что вы принимаете деревенскую прозу, печатаете ее, а город-то молчит. Ему не пробиться в литературу.

Но, понимая всю безнадежность обстоятельств, я письмо не послала.

Вскоре Твардовского уволили с работы. Инна сказала мне по телефону, что он последний час в журнале. Я поехала туда и встала у выезда со двора. И дождалась, проводила, видела, как

он уезжает в машине – совершенно серое, одутловатое, равнодушное лицо за окном «Волги». Со мной стояли еще двое – немолодая женщина (она ему поклонилась) и парень. Мы тут же разошлись в разные стороны.

А Инна хранила мои рассказы не даром – нет, их не печатали в «Новом мире» все двадцать лет нашей общей истории. Но в один прекрасный день туда пришел человек из МХАТа, режиссер и помощник Олега Ефремова, Михаил Анатольевич Горюнов. Он искал авторов для театра. И Инна дала ему мою папку. Именно мою, хотя диалогов в моих рассказах практически не было.

Я их специально не употребляла, считая, что это первое, на что обращает внимание читатель. Он любит диалоги, он их сразу выделяет в серой массе слов на странице. Он ради них и покупает журналы. А у меня существовал такой принцип: ничем не привлекать читателя – ни разговорами, ни портретами, ни красивыми словесными оборотами. Чтобы меня читали только самые понимающие люди. Самые умные.

Я передавала сюжет так, как его бы передал человек на остановке автобуса. Он же не будет живописать обстоятельства: «Ее встретило осеннее утро из тех, которые хочется сразу забыть» или «И тут она опустила голову и произнесла». И что эта «она» произнесла – в диалоге будет ярко, похоже, выразительно.

Но я этим пренебрегала. Берегла текст для лучших людей.

А театру только диалоги и нужны, они составляют всю драматургию.

И почему Горюнов, получив папку моих суровых рассказов, где люди существовали молча, потом мне позвонил и попросил написать для МХАТа пьесу – это уже колдовство Инны Борисовой.

Только через двадцать лет в «Новом мире» была опубликована моя повесть «Свой круг».

И через двадцать лет в журнале «Огонек» появился мой тот первый рассказ, «Такая девочка». Редактура убрала слова «совесть мира».

Уже нет на свете ни Михаил Анатолича, друга моего, Горюнова, ни великих редакторов «Нового мира», Инны Борисовой и Анны Берзер. Но именно они тогда меня удержали на поверхности. Не дали пропасть.

До сих пор помню, как мы с Кирюшей шли на почту в городке Плес – ему было почти восемь лет, он долго болел после смерти отца. И я, забрав из больницы, повезла его на Волгу, в Плес, в Дом творчества театрального общества. Я-то уже писала пьесы, спасибо Горюнову. И мне в Театральном обществе дали в Плес курсовку на питание, одну на двоих. Только на это хватило средств. Кое-как пропитавшись, мы с Кирюшей дожили до отъезда, а денег на обратную дорогу не осталось, и мы пошли на почту, на последние копейки я собиралась послать маме телеграмму: «Шли 20 срочно». По дороге – для отвлечения от безнадеги – мы заглянули в магазин «Культтовары». И Кирюша, чуть не заплавав, попросил купить ему пистолетик. Я потратила 17 копеек, Кирюша стал неимоверно счастлив. Семь лет было человеку. И денег осталось в обрез.

И на почте я заглянула в отдел «до востребования». И там меня ждал перевод от Инны и Аси, 35 рублей! «Это вам, Люся, на фрукты для Кирюши».

Никогда не забуду.

Андрей Кузечкин

Писал со школьных лет, с того же времени увлекался рок-музыкой. Был вокалистом в местечковой панк-группе, да и в литературе хотел делать нечто в том же духе. Кажется, мне это удалось: в 2004 году повесть «Менделеев-рок» попала в лонг-лист премии «Дебют», а в 2007-м была издана. С тех пор издаюсь по-взрослому, хотя пишу в основном о проблемах молодежи – потому что сам еще не вышел из этого возраста. И конечно, играю рок – и вживую, и на страницах моих книг.

Аня

Восьмое января 1999 года. Восемь утра. Мне шестнадцать лет. Я шагаю по трамвайным путям, потому что тротуар наглухо занесло снегом. Вокруг панельные многоэтажки, сугробы, сверкающие при свете фонаря, и – ни души.

Вижу двухэтажное здание, обнесенное проволочной оградой, и бегу к нему по сугробам, с хрустом проламывая наст.

В окнах горит свет. Я обхожу строение в поисках входа, но, увидев в стене здания выложенное из красных кирпичей изображение Чебурашки, убеждаюсь, что это детский сад, а вовсе не то, что мне нужно.

Нижний Новгород я знаю плохо. Я вообще из другого города.

Очень боюсь опоздать.

Продолжаю идти по трамвайным рельсам, пока не встречаю первого человека: женщину, одиноко стоящую на остановке.

– Извините, вы не подскажете, где здесь Центр одаренных детей?

Женщина подробно объясняет мне, как добраться до ЦОД (...две остановки на трамвае...) и как он выглядит (...белое здание с черным заборчиком...).

Так и начался этот исторический для меня день.

Миновав стеклянную дверь, я вошел в холл, окинул его взглядом: роскошно. Не Центр, а целый Дворец.

А хорошо, наверное, быть отличником. Все для тебя делают.

Сам я к таким не относился и учебой никогда особо не интересовался. Некие врожденные способности помогали мне получать по всем предметам хорошие, без натяжки, четверки – и мне, и учителям этого было достаточно. Твердые пятерки были лишь по русскому и английскому. Все было хорошо, но к одиннадцатому классу я понятия не имел, что делать дальше, куда поступать, какую специальность получать. В армию тоже не особо хотелось. Почему-то мне казалось, что ситуация разрешится как-нибудь сама собой.

Я поднялся на третий этаж, подошел к столу регистрации. Назвал свою фамилию, успев подумать: вдруг меня нет в списке?

– Извините, вас нет в списке.

– Как нет? («Так и знал, что это ошибка».) Посмотрите еще раз.

– Я же говорю – нет. Подождите, вы по области?

– Борский район.

– Ваши списки пока не привезли. Подождите, пожалуйста.

Я отошел к аквариуму. Некоторое время наблюдал, как золотые рыбки шевелят плавниками. Наверняка с тех пор, как этих рыбок поселили здесь, они здорово поумнели.

– Привет...

Я обернулся – девчонка. Моя сверстница.

Блондинка, коротко подстриженная, худенькая, легкая. Щечки чуть розовенькие.

– Привет, – кивнул я.

– Тебя тоже нет в списке?

Я опять кивнул.

– И меня.

– Не повезло нам, да?

– Да. Тебя, кстати, как зовут, товарищ по несчастью?

– Андрей.

– А я – Аня.

– Я вообще сюда случайно попал.

Я рассказал про «Таланты земли Нижегородской» – олимпиаду для школьников из области, экспериментальную и не совсем официальную. Задания были напечатаны в одной из нижегородских газет. Я выполнил задания, отправил и забыл об этом. Очень удивился, когда пригласили на очный тур, и еще больше – когда оказалось, что я занял первое место. И теперь я здесь. С одной олимпиады направлен на другую: областную по русскому языку. Попал сюда, можно сказать, в обход. Даже учителя об этом не знают.

На официальные олимпиады меня отправляли редко, да и то – дальше районных дело не шло. Мне и не особо хотелось. Класс, где я учился, был сильным, команда олимпиадников давно сформировалась, у них и без меня все хорошо получалось.

Когда принесли списки, мы с Аней всю обсуждали поэзию.

– Есенин такой пошляк!

– Еще какой. Читала поэму «Страна негодяев»? «А я, если б был мандарин, то повесил бы тебя, Литза Хун, за...»

Назвали мою фамилию. Я вернулся к столу и получил в руки лист бумаги.

– Заполните анкету. Когда заполните, сдайте и пройдите в актовый зал.

– Здорово, как в театре... – сказала Аня, войдя в зал. Выбрала себе место: – Можешь сесть со мной... – Но я уже сел, не дожидаясь разрешения.

На сцену вышли какие-то важные личности, сели за длинный стол и завели речи. Я не слушал.

– Я русский рок терпеть не могу, – говорил я таким громким шепотом, что сидящие вокруг оглядывались. – Вообще, русскоязычную музыку не перевариваю. Знаешь, какая у меня любимая русская группа? «Парк Горького»!

Она поняла шутку – группа «Парк Горького», как известно, поет только по-английски – и улыбнулась.

И тут краем уха я все-таки уловил в словах важных личностей нечто действительно интересное.

– Ты слышала? Он сказал, что первые три места – это поступление в университет!

– А ты что, не знал?

– Серьезно, не знал. Даже представить не мог. Слушай, занять бы хоть третье место!

«Это и есть ваша олимпиада?» – Я пробежался глазами по листку. Всего 11 заданий. «Фуфло... фуфло... – думал я, читая задание за заданием, пока не добрался до последнего. – Ага, вот это – то, что надо!»

Я принялся строчить – скорее, лишь бы добраться до одиннадцатого задания.

Пять-шесть заданий (вроде «От каких слов произошли слова ЦАРЬ, РУЖЬЕ, БАРИН?» – само собой, что от слов ЦЕЗАРЬ, ОРУЖИЕ и БОЯРИН) я проскочил на полной скорости и уперся, как в преграду, в «Что означают слова ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, МОНИТОРИНГ, КОНСАЛТИНГ? Назовите их русские синонимы. В каких случаях употребительно русское, а в каких – иностранное слово?»

Ужас какой. Мониторинги какие-то, консалтинги... Я посмотрел по сторонам.

Вокруг одни девчонки. Вон склонилась над своей работой Аня и пишет, пишет, не отрывая руки от бумаги. Я поглядел в другую сторону. Нет, здесь и парень имеется. Тощий – худобу подчеркивала водолазка – в очках с квадратными линзами без оправы.

Очкарик дернулся.

«Ну-ка, ну-ка...» – я решил, что мне показалось, и продолжил наблюдение. Очкарик дописал страницу и снова – дерг! – подпрыгнул на сиденье. Странные люди эти отличники.

Так, все о'кей, продолжаем. Я написал синоним к слову «эксклюзивный», точнее, целую фразу: «права на который принадлежат кому-то одному». А консалтинг – это, наверно, сове-

щение. А че такое мониторинг – я даже предположить не мог. Ладно, одно слово можно пропустить.

Я добавил, что иностранные слова употребляются в официально-деловом стиле, чем и отличаются от русских аналогов, употребительных в разговорной речи, и привел примеры: «Телекомпания получила права на эксклюзивный показ фильма» и «Представители различных фирм собрались на консалтинг». Будем надеяться, что прокатит.

Сделал по-быстрому еще пару заданий. Теперь меня отделял от цели лишь анализ композиции стихотворения «Я вас любил». Я ненавидел это произведение лютой ненавистью, но отступать было некуда. Пришлось напрячь память и вывалить на тетрадный лист все термины, которыми литераторша потчевала класс на каждом уроке: кольцевое обрамление и все такое прочее.

Все. Осталось заветное задание № 11.

«Напишите небольшие тексты на тему «Матрешка» в официально-деловом, художественном и публицистическом стилях». Вот сейчас будет весело.

Я потер лоб, пытаюсь вспомнить, в каком году в Россию завезли матрешку, и нашел в запасниках своей памяти лишь приблизительную дату: конец девятнадцатого века. «Без разницы», – решил я. Поразмыслив, написал:

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ.

Так называемая «матрешка», будучи завезенной из Японии в 1893 году, быстро приобрела популярность, что способствовало ее распространению на территории страны. Сохранились имена первых мастеров-матрешечников: Ф. И. Карусельников (1874–1916), Е. В. Головатый (1856–1902), О. П. Кривозуб (1869–1937). В то время матрешки изготавливались кустарным способом и в крайне ограниченном количестве. Современная же игрушечная промышленность за год изготавливает до 2 000 000 матрешек, предназначенных как для продажи внутри страны, так и для экспорта. Не вызывает сомнения тот факт, что матрешка является одной из самых любимых детских игрушек во всем мире.

Вроде ничего получилось. Только что это за «игрушечная промышленность»? Может, «легкая промышленность» было бы лучше? А, сойдет.

Я бросил взгляд в сторону Ани, она все так же писала, для нее не существовало ни меня, ни других школьников, ни ЦОД.

Оглянулся на очкарика – вдруг опять подскочит?

Приступил к следующему тексту.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ.

По ночному Нью-Йорку бежал человек. Он несея так, словно его преследовала стая волков. Кто знает, возможно, для беглеца такая ситуация была бы гораздо предпочтительнее, ведь за ним ехал на малой скорости лимузин Марио Спинелли, гангстера, наводившего ужас на весь город. Из окна лимузина высовывался сам Спинелли и короткими очередями стрелял из автомата системы «томпсон», целясь по ногам бегущего.

– Босс, а что нам, собственно, нужно от этого малого? – Шофера Сэнди никогда не посвящали в дела банды.

– Этот мошенник стащил мою любимую вещь, – процедил сквозь зубы Спинелли, перезаряжая оружие. – Матрешку. Это такая русская кукла.

– Вы играете в куклы, босс? – расхохотался Сэнди и тут же умолк под свирепым взглядом хозяина.

«Кажется, сегодня придется избавиться от двоих», – подумал Спинелли.

«Ха-ха-ха! Я погляжу, чего сочинят эти зубрилы. И дерганый». Я прокрутил в голове следующий текст. Все три текста сочинились сами собой, в тот самый момент, как я прочитал задание № 11 в первый раз, осталось только записать. «Обязательно будет словечко «ущербный». И что-нибудь про сырьевой придаток».

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

Знаете ли вы, товарищи, какие игрушки предпочитает наше подрастающее поколение? Жестоких роботов? Уродливых ниндзя-черепах? Прочих ущербных созданий?

Нет! Малыши по-прежнему без ума от русской красавицы матрешки.

Так почему же витрины наших игрушечных магазинов ощериваются сотнями клыков? Почему вместо матрешек, которых с любовью выточили из дерева наши мастера, мы видим чудовищ, отштампованных за рубежом из отходов производства? Товарищи, разве вы не видите, что это Запад с помощью пластмассовых уродцев пытается духовно закабалить наших детей, чтобы превратить нашу Родину в свой сырьевой придаток? Опомнитесь, товарищи!

Н. Медведева, пенсионерка.

Я спрыгнул со ступеньки автобуса на снег, после чего протянул руку Ане и помог выйти ей.

Мы вместе ехали на автобусе до вокзала, а перед этим вместе с остальными участниками отобедали в столовой, хотя и не столько ели суп, сколько болтали. Болтали и в автобусе. А потом настало время расходиться по разным остановкам.

– Что, Ань, неужели мы больше никогда не встретимся?

– Ну, кто знает. Может, и встретимся когда-нибудь...

– Понятно, – кивнул я. – Пока. – Успев услышать в ответ «пока-пока», я повернулся и зашагал не оглядываясь.

– Пока-пока.

Через несколько дней я узнал, что занял третье место на областной олимпиаде по русскому языку. Об этом сообщила завуч, зайдя в класс во время урока. Она изо всех сил пыталась улыбнуться, но получалось плохо. В классе я был далеко не первым по учебе и одним из худших по поведению, и мой успех не укладывался в голове у бедной завучихи, искренне считавшей, что на олимпиадах побеждают отличники. Собственно, я прекрасно ее понимал: для меня это был такой же шок, как и для нее.

Летом, когда я пришел подавать документы на филологический факультет университета, моя фамилия уже числилась в списках, и напротив нее было написано: «вне конкурса, без экзаменов». Я окончательно убедился, что никакой ошибки тут нет. Можно было бездельничать дальше.

За это мне следовало поблагодарить свою учительницу русского языка, редактора газеты, опубликовавшей задания олимпиады «Таланты земли Нижегородской», и собственных маму с бабушкой – учителей русского языка (мама вдобавок еще и издающийся писатель). Всех этих людей я поблагодарил, и не раз.

Кого не смог поблагодарить – так это Аню, которой я больше никогда не встречал. Ни телефона, ни адреса, ни даже фамилии ее я не знал. Социальных сетей еще не изобрели. Оставалось надеяться на случайную встречу, но и это не сработало.

Это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему общался с девушкой. В классе, где я учился, мальчики и девочки вплоть до выпускного почему-то держались отдельно и относились друг к другу сдержанно, если не сказать равнодушно, а вне школы я ни с кем особо не контактировал. Так что к шестнадцати годам весь мой опыт общения с девушками сводился разве что к обмену фразами типа: «Дай, пожалуйста, карандаш».

Рядом с Аней я впервые в жизни почувствовал себя мужчиной. Наверное, поэтому, разговаривая с ней, я не мялся, не стеснялся и не выдавливал из себя слова через силу. Очень хотелось произвести на нее впечатление. А когда мужчина хочет произвести впечатление на женщину, он иногда совершает невозможное. Не так ли?

Максим Лаврентьев

Максим Лаврентьев родился и вырос в Москве, с детства учился музыке. В юности избрал своей стезей словесность, чтобы не копировать судьбу отца-дирижера. В середине девяностых поступил в Литературный институт, куда был принят, не добрав на экзаменах одного балла, с формулировкой «за стихи». Параллельно, для заработка, разгружал запчасти в автосервисе, откуда ушел спустя почти десятилетие, чтобы трудиться редактором в различных литературных изданиях. С тех пор много пишет и несколько меньше публикует. Прозой начал заниматься лишь к сорока годам, преодолев критический для поэта возраст – тридцать семь лет.

Сальери в пионерлагере

В середине восьмидесятых Алла Борисовна пару лет работала музыкальным редактором на радио. Эта подробность выяснилась за вечерним чаем у нее дома, на кухне однокомнатной квартиры.

Чтобы отвести от себя подозрение читателя, признаюсь сразу, что присутствовал я здесь вовсе не из-за Аллы Борисовны, а из-за Анечки, ее тридцатилетней дочери.

Алла же Борисовна пришла с работы в восемь, плюс-минус пять минут, как и было предсказано. Кажется, она ничего необычного в нас не заметила, даже неосторожно намоченных под душем Анечкиных рыжих волос. Мы церемонно поздоровались в крошечной прихожей, представились друг другу. Прошли в кухню. Сели. Анна разлила чай по чашкам, я нарезал «Птичье молоко». Вечер потек спокойно, прямо-таки по-семейному.

Разговор за столом некоторое время назойливо вился вокруг телевизионных передач – ежевечернего развлечения шестидесятилетней женщины. Духовно плюнув на «продажных журналюшек» из новостных выпусков (выражение это взято в кавычки, потому что, прошу заметить, оно не мое, а хозяйки дома), переключились на «Эхо Москвы» (тут Алла Борисовна не преминула выставить себя либералкой) и чуть было не схлестнулись из-за одного застреленного недавно оппозиционера. Слава богу, вмешалась Анечка, до тех пор скромно отмалчивавшаяся («Спалишь, спалишь нас, детуся», – думал я, начиная понемногу сердиться):

– А ведь мама тоже работала на радио! Расскажи, мам!

– Ах, – махнула рукой та. – Всего полтора года, пока не ушла в декрет.

И Алла Борисовна улыбнулась кротко, будто ее смутила настойчивость дочери. А я вздохнул с облегчением: отвлечется от проклятой политики.

Повествование о первой перестроечной поре, совпавшей с работой на радио «Маяк», оказалось малоинтересным; мелькали смутно помнившиеся мне еще с детства фамилии советских радио- и телебоссов, шустрых попсовиков (кстати, с «примадонной» Анечкина мама была шапочно знакома, на людях они подчеркнуто громко обращались друг к другу по имени-отчеству: «Здравствуйте, Алла Борисовна!») и доморощенных рок-н-роллыщиков. Увлечшись, рассказчица живописала трудности, которые поначалу приходилось преодолевать музыкальным редакторам, чтобы протащить в эфир очередную западную новинку. Я же, слушая, как показалось бы со стороны, с большим вниманием, обратил внутренний взор в собственное прошлое...

Миновало около тридцати лет, а мне все еще любопытно узнать, какая же радиостанция вещала в тот июньский день из всех динамиков на территории пионерского лагеря «Дружба» под Солнечногорском. Память смутно доносит «пи-пи-пиии» перед выпуском новостей. Стало быть, «Маяк»?..

Перед обедом детям устроили взвешивание. Отстояв очередь к весам и огорчившись недостаточностью своих килограммов, я побрел в столовую, стараясь не встречаться взглядом с изможденными пионерами-героями на гигантских плакатах по обе стороны центральной аллеи. Фоном прогулки была мягкая музыка струнных: она то почти замирала, то усиливалась вновь, по мере того как я последовательно миновал столбы с развешанными на них динамиками. Иногда в скрипично-альтовый гомон нагло вклинивались духовые. Сдержанно тренькал клавесин, деликатно покашливали тарелки, а литавры бумкали так тихо, словно это какой-то благовоспитанный слон, оказавшись в посудной лавке, переминался с ноги на ногу, не решаясь двинуться с места. Поскольку я к тому времени уже отучился года три в музыкальной школе, то автоматически, не раздумывая всерьез, предположил, что слышу неизвестную мне прежде композицию Моцарта.

Где-то в районе широкой заасфальтированной площадки, на которой в ожидании торжественного подъема или спуска флага дважды в день выстраивались отряды пионеров, музыка

смокла. Приятный женский голос объявил: «Прозвучала (тут было названо произведение, допустим, увертюра) ...Антонио Сальери».

Я остановился.

«Пи-пи-пиии», – пропищало радио.

Что мне в ту пору могло быть известно о Сальери? Да то же, что большинству: бездарность, из зависти отравившая гения. Вряд ли тогда я уже прочитал Пушкина, но швейцеровскую экранизацию «Моцарта и Сальери» с великолепным Смоктуновским в роли злодея пересматривал не однажды. А все-таки о главном, о музыке этого итальянца, не имел решительно никакого представления.

Помню, что долго стоял с сильно бьющимся сердцем. Как же так? Ведь если допустить, что Антонио действительно отправил Вольфганга Амадея на тот свет, все равно причиной убийства не могли стать их музыкальные, творческие счеты – уровнем таланта (я только что в этом убедился) один не уступал другому, а возможно (тут включилось обычное мое желание всем и вся противоречить), да, очень даже вероятно, что первый, то есть Сальери, мог своего оппонента кое в чем и превзойти. А коли так, то кому, зачем понадобилось уничтожить замечательного композитора, отводить ему роль вечного антагониста гениальности? Ай да Пушкин! Вот уж действительно сукин сын. Услыхал исторический анекдот и раздул его до масштабов универсальной человеческой трагедии.

Разумеется, в тот момент я рассуждал несколько проще, но... Бедный, бедный Сальери!..

В тот или на следующий день, неважно, ко мне подошли наши вожатые:

– Максим, а ты правда играешь на пианино?

Я этого не отрицал.

– Тогда ты нам нужен!

Вожатые принялись втолковывать, что такой талантливый пионер просто обязан выступить через неделю на концерте, завершающем в лагере первую смену.

Я собрался всерьез отбрыкиваться, объяснять, что только начал учиться, играю не бог весть как, но тут в голову мне пришла одна мысль, вроде бы очень простая, и в то же время показавшаяся изящной, оригинальной.

Я позволил вожатым уговорить себя.

Прошла неделя; с каждым днем план мой представлялся мне все более заманчивым. В день концерта даже неизменное мое волнение, предательски выдававшее себя в дрожании пальцев, куда-то улетучилось. Как никогда прежде я был собран, целеустремлен и даже слегка нагловат.

– Ты следующий, – шепнул мне вожатый, когда на сцене актового зала заплясали какие-то девочки. – Кстати, а что ты там собрался наиграть?

– Я сам объявлю.

И вот настал момент истины.

Я поднялся на сцену под жидкие хлопки, которыми обычно публика награждает дебютантов, думая, что тем самым очень их поддерживает, и сел за инструмент, чувствуя на себе взгляды всего лагеря – и еще чего-то огромного, вместившегося сюда, обтекшего стены и потолка, взирающего не столько из пространства, сколько из времени. Готов поклясться, что это был...

– Антонио Сальери!

Так объявил я и сыграл простенькую пьесу Моцарта, за полгода разучивания в музыкальной школе набившую мне оскомину, однако твердо запомнившуюся.

Мне аплодировали. Сойдя в зал, я двинулся по боковому проходу, и многие переспрашивали меня и друг друга: «Как, Сальери? Неужели тот самый?» На ближайшие пятнадцать минут я сделался модным, девочки в фойе наперебой подходили знакомиться, интересовались, где мне удалось раздобыть ноты, желали их переписать. Пришлось что-то наврать в ответ.

А потом сцену оккупировали наши парни-вожатые с электрогитарами. На второй или третьей песне они разделись до трусов (ей-богу, не вру!) и под припев «Синенькие трусики, беленькие майки» в партере начались танцы. Танцевал и я с одной из приглянувшихся мне девчонок, пока не потерял ее в толпе.

Три десятилетия пролетело, состоялась судьба, профессия, но знаете... Если перед смертью у меня будет возможность вспомнить прожитое – не всю жизнь, ладно уж, а хотя бы самые пронзительные моменты, я хотел бы вернуться памятью в те июньские дни середины восьмидесятых, снова подняться на сцену и...

– Я вас, чувствую, совсем заболтала! Ну, пойду к себе, а вы, молодые люди, сидите тут, пейте, ешьте и вообще. Аня, поставь чайник!

Алла Борисовна поднялась и отправилась в комнату – подошло время ее любимой телепередачи.

Оставшись вдвоем с Анечкой, мы закрыли дверь в кухню, но чай пить не стали, а вместо этого, стараясь громко не чмокать, целовались часа полтора.

Меня, конечно, подмывало пойти спросить Аллу Борисовну, не она ли была тем редактором, который протащил на «Маяк» Сальери. Но как отнеслась бы она к моей истории? Не приняла бы, часом, за одержимого? Право же, несколько странно выдавать Моцарта за Сальери, да еще и гордиться этим.

К тому же я имел некоторые виды на Анечку, а значит, следовало вести себя осторожнее с мамашей.

– Спасибо, Алла Борисовна! – Это я, собравшись уходить, бодро гаркнул в комнату из прихожей.

Анечкина мама восприняла мои слова по-своему и, поглощенная экранным зрелищем, небрежно помахала в ответ рукой.

Впрочем, ни за что особенное я ее и не благодарил.

2016

Валерий Бочков

Гражданин мира – родился в Латвии, в разные периоды жизни жил и работал в Москве и Амстердаме, в США и Германии. Валерий в первую очередь известный художник – после окончания художественно-графического факультета работал иллюстратором крупных журналов и издательств. Но, по словам художника, когда он вполне высказался языком живописи, он начал писать жизнь художественным словом. Олимп большой литературы Валерий покорил за 10 лет – начав писать в 2004-м и получив «Русскую премию» в номинации «Крупная проза» в 2014-м. Счастье, по мнению Валерия, остро ощущается в мгновения постижения законов жизни и вопиющей красоты природы.

Хрустальный глаз

Юность, как ни крути, жестокая пора. Самый безжалостный возраст. Розовые детские слюни и сладкое сюсюканье – ну кто тут самый красивый и самый умный? – ну, конечно же, ты, кто же еще? И сказочки на ночь, и шерстяные носочки с теплой батареей, и самый вкусный кусочек кому? – конечно, конечно, тебе, радость моя.

И вдруг все это позади.

Еще вчера ты был центр мироздания, прекрасное и несравненное солнце, сегодня – занюханный болид в круговерти холодного космоса. Нет, ты, безусловно, подозревал, что модель вселенной слишком уж идеальна, были-были сомнения – не дурак же, да, догадывался – есть тут некая фальшь. Слишком уж все вокруг протекало счастливо-солнечно, как-то даже с перехлестом, определенно подвох где-то таился. Но чтоб такой! Чтоб настолько!

Успешно преодолев мучительную пору полового созревания, ты уже не беззаботное дитя с лучистым взглядом, – кудряшки, матроска, – херувим на фоне полевых венков, утренних жаворонков и добрых собак борзых пород, но еще и не матерая особь мужского пола – сигарета, трость, перстень на мизинце, вечерняя щетина с духом английского одеколona и французского коньяка.

Ты – ни то ни се. Уже не гусеница, но еще и не бабочка.

Ты юн, неопытен, наивен – цинизм придет позже. Нет, не то чтобы с годами ты становишься умнее, просто научишься уворачиваться и прикрывать мягкие ткани и болевые точки. Научишься имитировать и симулировать. Подпишешь двусторонний пакт с самим собой, пакт о сотрудничестве и взаимопомощи. С годами процесс компромисса станет простым и почти приятным. Чем-то вроде облегчения после рвоты.

В юности впервые познаешь истинную суть одиночества. Космического, вселенского одиночества. Понимаешь, что именно одиночество лежит в основе твоего бытия. И именно поэтому в юности так важно иметь настоящего друга. Мне повезло – у меня был такой друг. И его звали Венька Шухов. Но история эта не про Веньку, а про его отца – Шухова-старшего. Про дядю Славу.

Мой отец не дожил до пятидесяти – инфаркт, я еще учился в школе, помню, меня вызвали в кабинет директора прямо с контрольной по химии. Помню, шел-гадал по пустым коридором, по гулким лестницам – чего я такого натворил, чтоб с контрольной да к директору? А через неделю дура-соседка с девятого, потеснив меня в угол лифта своим каракулевым телом, спросила доброжелательным тоном, каким обычно интересуются из так называемой вежливости о вещах вполне известных, вроде вчерашнего ливня или недавней поездки в Ялту; так вот эта каракулевая идиотка, невинно улыбаясь жирно на помаженными губами, спросила: «Ну что, папа умер?» Я по сей день пытаюсь найти приемлемый ответ на ее вопрос.

Закат советской империи. Те времена сейчас кажутся вегетарианскими и гладкими, почти пасхальными: Москва наводила марафет, готовилась к летней Олимпиаде, в Афганистане наши солдаты строили школы и детские сады, аскетизм сталинской поры сменился брежневским сибаритством – очухавшийся народ прибавал к стенам восточные ковры из Душанбе и вешал хрустальные люстры производства ЧССР. Избранные счастливицы обзавелись финскими дубленками и кожаными пиджаками. Джинсы перестали быть штанами вероятного противника. В ларьках появилось югославское «Мальборо».

Венькин отец, дядя Слава, «Мальборо» не курил, он курил трубку. Этих трубок у него была целая армия, дюжины три, не меньше. Вересковые «Данхилы», «Орлики» из вишни, трубки короткие и трубки длинные, с чубуками гнутыми и прямыми, трубки лакированные и с грубой, точно обожженной, насечкой стояли на резных деревянных подставках как экспо-

наты в краеведческом музее. Одна, яблоневая, коренастая и прокопченная, по слухам, некогда принадлежала самому Сталину. В коллекцию трубка эта попала через третьи руки – от друга Миши Шаповалова, чей учитель был сыном личного охранника Иосифа Виссарионовича. На черном эбоните мундштука виднелись следы от острых зубов генералиссимуса.

По просторным комнатам с высокими лепными потолками – квартира занимала верхний этаж старого доходного дома на Пречистенке – плыл медовый дух трубочного табака. Сорта его назывались таинственно и элегантно – «Амфора», «Клан», «Мак Барен», сам табак хранился в круглых жестянках, похожих на добротные банки из-под дореволюционного монпансье. Божественный табачный аромат, похожий на запах теплой карамели, да еще ковры по полу и дубовые панели по стенам, картины в тусклой бронзе старых рам, тертая кожа благородных кресел, – казалось, что, перешагнув порог, ты навсегда оставлял за спиной шершавую простоту советского быта, неуютного, коммунального, провонявшего насквозь потом и щами, завистью и матюками, и погружался в какую-то нереальную, добрую и почти сказочную вселенную, где под стеклом янтарных абажуров велись уютные беседы, а за окном невинно топорщились макушки вечерних лип с беззаботным чириканьем мелких пичуг. Синева над бульварами наливалась лиловым, она вполне могла сойти за тихие парижские сумерки, если бы не дальний контур высотки, застрявшей у трех вокзалов, этот хищный стилет с колючей звездой в железном венке на самом острие жала.

Мой друг Венька был единственным ребенком в семье. Не могу сказать, чтобы его баловали как-то уж особенно, он просто получал все необходимое. Тряпки и вещи, за которые мои сверстники без разговоров заложили бы душу, Венька получал как нечто само собой разумеющееся. И не его вина, что товары эти были выписаны по каталогу «Питер Истерманн» или запросто привезены из Лондона или Нью-Йорка, – Венька из всех моих знакомых с наибольшим равнодушием относился к ярлыкам на рыжей замше или к этикеткам на божественно-голубой джинсе. И равнодушие это, поверьте мне, не было напуском.

Разумеется, Венька окончил английскую спецшколу и, разумеется, поступил в институт. Точнее, в университет, МГУ, на факультет журналистики. Его приняли бы и в МГИМО, просто до журфака ему было удобней добираться, чем до Крымской, – по прямой, без пересадок. Мой друг был убийственно рационален – он свято верил, что любое телодвижение должно быть оправдано логикой и подтверждено здравым смыслом. Многие принимали это за лень, что неудивительно в стране, где «мерилом работы считали усталость». Тем же сентябрем я с трудом протиснулся на художественно-графический факультет Московского пединститута.

Многие друзья-приятели наши тоже поступили в вузы, менее удачливые спасались от армии. Спасались кто как умел – Вовка из испанской, провалившись в Мориса Тореза, устроился электриком на какой-то оборонный завод, Калугин получил бронь в Курчатовском, у Арахиса нашли какую-то редкую болезнь в ноге и комиссовали. Гусь, утонченный эстет, похожий на художника Модильяни, прятался в Кащенко. Женя Ложечников выбросился с девятого этажа. Сашка Купидонов сел за мошенничество. Потом, спустя много лет, я узнал, что его зарезали во Владимирской пересыльной тюрьме. Таким вот макаром мое поколение плавно поползло во взрослую жизнь.

А во вселенной у Шуховых, в их карамельных гостиных мягким фоном звучал насмешливый и чуть пьяный баритон Дина Мартина, звонкоголосая Венькина мамаша, тетя Люся, смуглая маленькая хохотушка, развеселая и больше похожая на ладную таитянку, чем на татарку, обносила гостей подносом с коктейлями из настоящего английского «Гордонса» со льдом, тоником и ломтиком лимона. Или угощала запотевшим чешским «Будваром» и отборными вареными раками, от коралловой горы которых валил укропный пар.

И гости, шумный хоровод которых казался бесконечным, они точно были отобраны каким-то кастинговым бюро по признакам изящества позы, благородности посадки головы или

звучности фамилии: известный актер в белом свитере с высоким воротом, похожий на полярного летчика, дочь знаменитого скульптора, и знаменитый скульптор, но другой, и популярный хоккеист с рассеченной бровью, и пара пережившихся маршальских детей с улицы Грановского, и модный уса́тый режиссер в шелковой жилетке с убедительными повадками русского барина. Скромно закусывал водку маринованным опенком почти великий поэт и певец (ненавижу слово «бард»), а в углу, отражая полированной лысиной огни люстр, развлекал дам карточными фокусами телеведущий клуба путешествий. Заносило сюда и иностранцев – шумных румяных американцев и диковинных черно-белых парижанок, высокомерных англичан и неинтересных, по-русски простоватых, шведов. И над всем этим, точно добрый языческий бог, в клубах медового дыма, не очень пьяный, но очень веселый, закусив белыми зубами эбонитовый мундштук трубки, царил Шухов-старший. Дядя Слава.

Осанка и профиль, а может, прямолинейность характера, выраженная в жестах и фразах, честность и правильность суждений – он никогда не лукавил и не хитрил, запросто мог подраться – как-то при мне он заступился на улице за незнакомую женщину и ловко набил морду какому-то хаму, – все это очень импонировало. К нам, Веньке и ко мне, он относился без скидок на возраст, – серьезно и по-взрослому. Сейчас мне кажется, что он действительно считал себя ответственным за наше воспитание, ответственным за то, какими мы вырастем людьми. Звучит банально, почти пошло, но лучше не знаю как сказать. Он не видел вреда в книгах, даже изданных там и запрещенных тут, мы захлеб читали Солженицына и Зиновьева, Сашу Черного, Набокова, Пастернака и прочих отщепенцев, напечатанных «Посевом» и «Умка-пресс». Смешно сказать, но даже «Собачье сердце» считалось антисоветской крамолой. Впрочем, если вдуматься, почему даже?

Бывало, мы выбирались на рыбалку. Дядя Слава был рыболов страстный, мы с Венькой рыбачили так, за компанию: закинув удочки и свесив за борт лодки пудовые болотные сапоги, мы трепались, курили, тайком пили контрабандный коньяк из плоской хромированной фляги. Каким-то полузабытым августом мы забрались аж в Прибалтику, под самую Ригу. Две незабываемые недели жили в палатках на берегу лесного озера, среди высоченных сосен, готовили на костре. Таскали килограммовых щук на спиннинг, собирали ведрами крепкие, как кулак, подосиновики, на соседнем хуторе у жилистого старика по имени Эдвард покупали свежие яйца и копченую грудинку. Мрачность латышей оказалась явно преувеличенной – Эдвард с аппетитом хлебал наваристую окуневую уху у нашего костра, угощал нас самогоном и домашним пивом. Приносил теплые караваи ржаного хлеба с дурманящим запахом свежего тмина. Смешно коверкая слова, рассказывал похабные русские анекдоты. Дядя Слава смущался, сам он матом почти не ругался, за всю жизнь я слышал от него всего полдюжины матерных слов, да и то употребленных каждый раз по случаю крайней необходимости. Эдвард любил выпить, от пылающих поленьев, горячей ухи и крепкого самогона, который он с ласковой улыбкой называл «водочка», его морщинистое лицо краснело, мощный нос наливался рубиновым жаром и блестел, как напомаженный. Тем летом ему стукнуло семьдесят, что нам с Венькой казалось дремучей, почти библейской, древностью.

Именно тогда, на остывающем берегу сонного озера, под черными лапами сосен, в мою юную голову забрела нетрезвая мысль о том, что время гораздо более относительное понятие, чем принято считать. Сейчас-то я убежден, что времени просто не существует: это понятие было придумано швейцарскими часовщиками и проходимцами, которые называют себя математиками.

Старик плел довоенные истории. Как он поехал в Ригу за отрезом бостона на выходной костюм, но бес его попутал, и Эдвард прогулял все деньги в борделе.

– На углу Ульманиса и Лайма-иела, – давал точные координаты дома терпимости наш дед. – Как с Ратушной площади повернешь на Крукулю-мост, оно прямиком и вот...

Говорил так, будто все это с ним случилось на той неделе. Нас с Венькой он спрессовал в единое целое и если и обращался, то непременно к обоим сразу, называя нас чудным словом «мальцы», с ударением на «а». Дядю Славу почтительно величал «паном».

– Слышал, пан, люди болтают: водка – зло. А водочка-то меня от смерти спасла.

Выяснилось, что Эдвард – самогонщик со стажем. Начал гнать еще до войны, гнал из картошки (як поляци), экспериментировал с яблоками, пробовал рожь и пшеницу, добавлял крыжовник и смородину, настаивал на березовых почках. Сам скумекал насчет тройной очистки углем, перед самой оккупацией стал чемпионом Нижней Латгалии по самогоноварению и был награжден дубовым венком и денежным призом в двадцать латов. В те былинные времена у Эдварда, прямо как в сказке, было два брата.

– А когда ваши пришли, – так уклончиво описал он оккупацию своей страны нашей в сороковом году, – забрали в Красную армию старшего брата. Пришли забирать меня – я советским командирам водочки налил да и говорю: «Оставьте меня дома, добрые паны товарищи, ну кто вам еще такой самогон будет варить?»

Русские согласились с логикой латыша – ушли. В сорок первом Латвию захватили немцы. Началась мобилизация. Забрили в вермахт младшего брата. Пришли и к Эдварду. С немцами повторилась та же история, что и с русскими. Так Эдвард не попал на войну и остался жив. Братьям повезло меньше – старшего убили немцы, младшего русские.

Догорал костер, угли пульсировали малиновым жаром. Коварное небо интимно придвигалось и бесстыже распахивало бархатную изнанку, расшитую звездной пылью. Огибая стволы сосен, из леса, как живой, выползал туман и плыл сонным призраком над черным стеклом озера. Заканчивалось лето восемьдесят третьего года.

Как это часто случается со мной, я упустил главное: расписывая канувшие в вечность пейзажи или вспоминая давно умершего латыша (земля тебе пухом, Эдвард), я напрочь позабыл рассказать о главном: а чем же все-таки занимался дядя Слава. Кем же он был?

Профессия Шухова по тем, доцифровым, докомпьютерным, временам считалась редкой, почти эксклюзивной – он работал фотокорреспондентом. Он был фотожурналистом и репортером, тоже с приставкой фото. Но дело даже не в этом, оставаясь абсолютно советским гражданином, он являлся специальным корреспондентом крупнейшего американского информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Или как дядя Слава по-свойски называл его – Эй-Пи. Щедрые американцы снабжали его новейшей аппаратурой и лучшими фотоматериалами: лучшей оптикой, последними моделями «Никонов» и «Кэнонов», упаковками пленки «Кодак» – цветной и черно-белой, коробками фотобумаги.

Агентство отправляло дядю Славу в командировки. Как-то на Чукотке он всю неделю арендовал вертолет, чтобы снять единственный кадр: с высоты птичьего полета раскрывается закругленный горизонт (такой эффект дает объектив «рыбий глаз»), из-за края земли выглядывает восходящее солнце, а по тундре навстречу камере, отбрасывая длинные розовые тени, мчится тысячное стадо северных оленей. Я видел эту фотографию, ее опубликовал на своей обложке журнал «Нэшэнэл джиогрэфик».

Снимал он и спорт. Я часто видел дядю Славу на международных чемпионатах, он мелькал на экране телевизора за хоккейным бортиком с внушительным телевиком или, увешанный камерами, ожидал острого момента у футбольных ворот. Моя память запросто может нарисовать его спортивную фигуру (в молодости он играл в водное поло за сборную Белоруссии, к счастью – его слова, – «у меня хватило мозгов завязать с водно-половыми играми и не превратиться в профессионального спортсмена») в кожанке или в охотничьем жилете с тысячей карманов, набитых коробками с пленкой, фильтрами для объективов и прочей фотомешурой.

Но главной коронкой фоторепортера Шухова была официальная съемка. Встречи глав государств, переговоры на высшем уровне, приемы и прочая парадная скучища.

– Скучища? – с боксерским азартом переспрашивал он меня. – Да будет тебе известно – это не только самый сложный вид съемки, но и самый интересный. Ты думаешь – щелкнуть эффектный гол или пируэт в фигурном катании – вот мастерство, да? Ничего подобного! Ты выбираешь правильную позицию, ставишь нужный объектив и ждешь. Просто ждешь. И если ты не заснешь, то наверняка сделаешь пару-тройку приличных кадров, которые будет не стыдно принести в контору.

Протокольная съемка совсем другое дело. На официальных встречах фоторепортеров запускают в зал всего лишь на минуту, запускают табуном. Там уж никто не церемонится, если тебе не удалось отработать в эту минуту, все – второго дубля не будет. Дядя Слава рассказывал, как легендарный Халдей снимал парад на Красной площади, а когда его точно так же, на минуту, запустили на Мавзолей, чтобы сфотографировать отца народов, фотокор обнаружил, что в камере остался последний кадр. Просить Сталина немного погодить, пока фотограф зарядит новую кассету, явно не стоило. Халдей поймал усатое лицо в объектив, навел фокус, помолился и нажал спуск.

– И сделал гениальный кадр!

Дядя Слава тут же схватил с полки альбом, быстро пролистал. Нашел, раскрыл, ткнул пальцем в лоб тирана.

– Вот! Ну?! Живой, эмоциональный, трагичный даже – в сотню раз лучше всех постановочных студийных портретов с выверенным светом и неумейной ретушью. Ты пойми – страсть материальна. Энергия мастера обладает фантастической силой, она переходит в его творение. А если делать все с развязанными шнурками – как некоторые...

Он, громко захлопнув книгу, кивал в сторону сына. Венька к тому времени перевелся на вечернее отделение журфака и тоже начал снимать. Ему нравилась внешняя сторона профессии – увесистые камеры и объективы в бархатных мешочках, черные кофры буйволиной грубой кожи, повязка на рукаве с авторитетным словом «Пресса». Однако рациональная лень с годами переросла в почти религиозное сибаритство, и если бы мне нужно было изобразить визуальную квинтэссенцию существа моего друга, то атрибутами к портрету стали бы диван, халат, плед и книжка. И другая книжка – он любил параллельное чтение и читал по несколько книг сразу. Стандартный комплект мог включать Акутагаву, «Жизнь животных» Брема и потрепанного Яна Флеминга в оригинале. Тут же на журнальном столике незавершенный пасьянс плюс пачка сигарет с подручной пепельницей, неизменно переполненной окурками. Разумеется, подражая отцу, Венька начал было курить трубку, но и тут лень победила – куда проще сунуть сигарету в рот и чиркнуть спичкой, чем проделывать каждый раз тягостный ритуал с набивкой и кропотливым раскуриванием. Не говоря уже про регулярную чистку мундштука и чубука при помощи всевозможных лилипутских щеточек и войлочных шомполов. Неудивительно, что он перестал бриться и постепенно зарос внушительной бородой, какого-то кубинского фасона. Потолстел. Татарская кровь мамыши, взяв верх, постепенно придавала Веньке экзотический вид: смуглый в любое время года, с нечесаными вороными кудрями до плеч, в золотых амулетах на мохнатой груди, он напоминал нечто среднее между греческим пиратом и опустившимся цыганским бароном.

Еще штрих – на их просторной кухне Венька пользовался креслом на колесиках. Оттолкнется ногой – и у холодильника. Оттолкнется другой – снова у стола. Так, не вставая, он совершал путешествия по кухне, снабжая себя всем необходимым. Безусловно, мой друг Венька был изобретательным малым, недаром же говорят: лень – мать всех изобретений. Да, еще – он начал прилично закладывать. Пил часто, пить предпочитал водку.

Я тоже выпивал, но пил умеренно. Защитил диплом и постепенно стал вполне крепким графиком. Мои иллюстрации стали появляться в журналах и газетах. Помню непередаваемый восторг от пахнущего краской номера «Юности» или «Литературки», от едва различимого, набранного муравьиным петитом «художник такой-то» или «рисунки такого-то». Дядя Слава с

охотным бескорыстием помогал: звонил знакомым редакторам, художникам издательств, рекомендовал. Иногда сдержанно, чтоб я не зазнался, похваливал. Помимо здорового честолюбия, естественного качества для любого нормального художника, дополнительным стимулом стал страх подвести дядю Славу. К трудолюбию присоседилась моя чуткая совесть с плеткой в нервной руке. Комбинация оказалась вполне выигрышной и продуктивной.

Жизнь текла (как пишут в толстых романах) своим чередом. Нам стукнуло по тридцать, Веньке в январе, мне в апреле. Мы обзавелись семьями (фраза из того же романа), мы стали видеться гораздо реже. Венька перевелся на заочный – шел десятый год его обучения на журфаке, он кое-как переполз на шестой курс, но диплом так и не получил. Дядя Слава договорился на кафедре, и Веньке нужно было всего лишь там появиться.

– Ну дадут они мне эту корочку, ну и что? – ловко скрутив крышку, он разливал ледяную «Столичную» по рюмкам. – Ну и что?

Что тут возразишь: Венька и без диплома работал спецкором журнала «Ньюсуик», но работал как по кулацкому найму, и терпели его там лишь из-за Шухова-старшего.

– И я не вижу причин... – поднимая рюмку и звучно шкрябая седеющую поросль на груди, декламировал он, – что помешали бы двум благородным донам выпить по стаканчику ируканского.

Стругацких и Булгакова он мог цитировать по памяти абзацами, мой друг был действительно зверски начитан. Любовь к книгам, увы, не спасла Венькиного семейного счастья – жена ушла от него через год.

Да и в целом пейзаж вдруг потемнел, в стране стало скучно и неудобно, точно солнце заползло за угол дома. Возник неожиданный Горбачев с неправильными ударениями и подозрительным родимым пятном на лысине. Меченый – мрачно говорили мужики в очередях за водкой. Их жены люто ненавидели жену Райку. Что-то зрело, набухало, вроде нарыва, каждому казалось, что его кто-то объегорил. Каждому жуть как хотелось найти этого умника и набить ему морду. Дошло до кошунства: в газете кто-то предложил похоронить Ленина. Шуховы покинули Пречистенку и круглый год теперь обитали на даче. Сорок верст по Дмитровке – сообщил мне дядя Слава, диктуя адрес.

Редко, раз в три месяца, я заезжал к ним на дачу. От нашей дружбы с Венькой остался какой-то картонный муляж, внешне румяный, внутри он был набит мертвой трухой. Мы так хорошо знали друг друга, что разыгрывали нашу вежливую пантомиму почти без усилий, фразы цеплялись одна за другую, привычно, остроумно и ловко. Фразы не значили ничего – куски абстрактной мозаики, гаммы и гармонии, исполняемые вслепую, без участия мозга и сердца.

Дачная кухня, обшитая светлой березой до потолка, была точной репликой московской кухни. Включая знаменитый стул на колесиках. Ладная мебель, удобная и простая – понятие простоты не всегда является эквивалентом дешевизны, в данном случае я бы с уверенностью утверждал обратное. Под стеклянным абажуром, разноцветным, точно витражное стекло из готического собора, стоял надежный дубовый стол, простой и грубый. За таким, думаю, вгрызались в зажаренных фазанов разбойники Шиллера или разливали по оловянным кубкам молодое бургундское мушкетеры Дюма. За этим честным мужицким столом, заползая далеко за полночь, тянулись наши сугубо мужские посиделки.

Дядя Слава держался в форме, он почти не состарился, мы же с Венькой заматерели и вполне могли сойти за взрослых. На той дачной кухне у меня впервые появилось ощущение равенства – из наставника и покровителя Шухов-старший превратился просто в хорошего мужика, интересного собеседника и занятого собутыльника.

– А помнишь-помнишь, – азартно говорил он мне. – Помнишь, какой клев был на озере? На вечерней зорьке? Помнишь, какой лещ шел? Во!

Он щедро разводил руки. Впрочем, лещ действительно шел отменный – килограмма по полтора, как на подбор.

– А как у нас кончились черви, помнишь?

И это я помнил. Клев был такой, что у нас кончились черви. Веньке дали ключи от «Нивы» и отправили на ферму накопать свежих, он вернулся с полной банкой, но раскуроченным бампером и вдребезги разбитым радиатором – на обратной дороге въехал в не успевший увернуться трактор.

– Ну да! Прет посередине! – просыпался Венька. – Колхозник хренов! Я – вправо, и он вправо, я – влево...

– Вень! – хохоча, возмущался отец. – Вправо-влево. Трактор! Это ж не «Феррари»!

Тогда нам, впрочем, было не до смеха. Оказаться в лесу с разбитым радиатором, когда в радиусе двухсот километров нет ни одной ремонтной станции, – смешного тут, поверьте, мало. Мы кое-как выправили бампер, но системе охлаждения пришел каюк. Обратном в Москву мы неслись со скоростью ветра, наш двигатель охлаждался именно им – встречным потоком воздуха.

– А Эдварда помнишь? Какой самогон, а? Водочка... помнишь?

Конечно помню. Старик, должно быть, уже умер, думал каждый из нас, но вслух не говорил ничего. Переехав на дачу, дядя Слава сам начал варить самогон, отчасти из озорства, отчасти выражая протест горбачевской кампании трезвого быта. Это был протест солидарности с пьющим народом России – Шуховы покупали продукты в «Березке» на Кутузовском, там на спиртное никаких ограничений не вводилось. Самогонный аппарат, как и положено, стоял в подвале. Он напоминал прибор из научно-фантастического кино про космические полеты – хромированная сталь, тумблеры и датчики, сияющий медью змеевик, – аппарат собрали специально для Шухова на каком-то военном заводе. На полках, разлитый по бутылкам, ровными рядами гордо сиял готовый продукт. На самодельных ярлыках аккуратным почерком была выведена дополнительная информация: когда и из чего приготовлен самогон, на чем настоян.

– Вот это попробуй! – Дядя Слава бережно разливал. – Слеза девственницы! На смородиновых почках... Я их ранней весной, когда они только проклюнутся... малюсенькие такие...

Насчет девственницы он, конечно, загибал. Сквозь сладкий сивушный дух пробивался яркий свежий полутон, вроде скошенного поутру луга, когда едешь по проселку и вдруг в открытое окно так и пахнет. Что-то вроде того.

– Высший класс! – честно восторгался я. – Старик Эдвард бы одобрил!

Мы закусывали солеными рыжиками из соседнего леса. Грибов было море, зря ты в сентябре не выбрался, сетовал хозяин, я соглашался, да, мол, зря. Он снова наливал, мы чокались и снова пили. Я накалывал на вилку крепкий корншон, огурцы тоже солились тут, на даче. Дядя Слава мастерил аппетитный бутерброд – на ржаной хлеб мазал злую горчицу, сверху прикрывал тонким куском копченой грудинки. Горчица должна быть внутри, он поднимал рюмку и кивал мне – давай! Я давал.

За зимним окном чернела ночь, в желтом конусе света лениво падали здоровенные, какие-то бутафорские снежинки. Падали медленнее, чем им было положено по закону Ньютона. Да, брат, такая ночь, философски замечал дядя Слава. Обычно к этому часу Венька незаметно исчезал. Не держит градус, – сетовал отец. Произносил фразу мрачно, с досадой, я понимал, что дело тут, конечно, не в этом.

Откупоривалась вторая бутылка, я начинал передегивать, половинить. Шухов пил до дна, сосредоточенно и неспешно, с чисто русским уважением к напитку и процессу. Выпив, аккуратно и без стука ставил рюмку на стол. Выдержав паузу, точно прислушиваясь к процессу проникновения напитка внутрь, аппетитно закусывал. Потом он начинал рассказывать, а я слушать. О, какие то были истории...

Шухов знал Гагарина: когда снимал репортаж для «Таймс», несколько дней жил в Звездном, играл с космонавтами в футбол, после в сосновом бору все вместе пили пиво с воблой. С Брежневым он ездил на охоту, после охоты на спор выиграл у генсека часы – состязались в стрельбе по пустым бутылкам. Вместе с Горбачевым он летал на переговоры в Рейкьявик, а за фото Горби с Рейганом ему присудили «Хрустальный глаз» – главную международную премию в фотожурналистике. Фото это было напечатано по всему миру – в газетах и журналах, сейчас смешно даже вообразить, что когда-то Интернета просто не существовало.

Помню мой самый последний визит на дачу. Яркий сентябрьский свет растекался медовыми лужами по сосновым доскам пола гостиной, в окно тянуло вечерним дымком, вкусно пахло спелыми яблоками. Дядя Слава угрюмо мял лицо, мы сидели, утонув в мягких кожаных креслах. Тогда я впервые услышал про переезд на Кипр.

– Не знаю, может, она и права... – морщась, говорил Шухов. – Продать все к чертовой матери, а? Там цены, на этом Кипре – тьфу!

Он сухо сплюнул. Я молчал. Мне было неудобно и как-то беспризорно, не мог я представить свою вселенную без него. Не мог и не хотел.

– Не грусти! Будешь в гости к нам приезжать. Вон – Веня тоже переезжает, – словно угадал он мою тоску. – Море – сказка! Я акваланги куплю, ружья, будем охотиться на макрель. Ты с аквалангом нырял? Нет? Да ты что? Научу, научу... Я ж «Человека-амфибию» снимал, ассистентом оператора, сразу после ВГИКа, первая работа моя. Подводные съемки. Помню, мы с Мишкой Козаковым на спор ныряли – кто дальше, у меня тогда дыхалка была – будь здоров, после воднополовых игр...

Он умолк, точно погас. Точно у него кончился завод, как у тех механических игрушек со стальной пружиной внутри.

– Кипр? – Я рассеянно произнес, словно пробуя слово на вкус. Вкус мне не понравился. – Кипр? А как же... как же работа?

Он поморщился как от зубной боли.

– Работа... И с работой тоже какая-то дребедень... получается. Там ведь все новые теперь – все! Самое смешное, я ведь его еще по Екатеринбургу знаю. Приезжал снимать, когда он там первым секретарем был. Мы с ним потом там накеросинились – мама не горюй! Я у него дома так и рухнул. Утром Наина нам глазунью жарила... по пятьдесят капель налила. Душевная женщина.

Он замолчал, что-то обдумывая.

– Ну а потом, я уже двадцать пять лет в Эй-Пи. Ну сколько можно? Вон, мне американцы уже и диплом ветерана вручили – за выслугу лет и творческие успехи...

Дядя Слава засмеялся невесело:

– Понимаешь, у Горбачева порядок был – протокол есть протокол, все расписано. Как в лучших домах Сан-Франциско. У этих... – Он наклонил голову, покачал. – Бардак. Полный бардак! Всем крутит Коржаков, еще та...

Он беззвучно произнес матерное ругательство, я угадал по губам знакомое слово.

Да, я прилетел на Кипр. Прилетел вечером, таксист вез меня какими-то темными дорогами, которые напоминали американские горки. Слева угадывалось море, справа чернели скалы.

– Вон там, – мотнув головой в неопределенном направлении, сказал по-английски таксист. – Грот Венеры.

– В смысле? – уточнил я.

– Там она родилась.

– Я думал, она из морской пены родилась, нет?

– Из пены. Но в гроте – вон там.

Венька жил отдельно от родителей, обитал в двухкомнатной квартире, которые тут именовались важно – «апартаменты». Мы курили на балконе, который нависал над тусклой автостоянкой.

– Старик! Чистой воды рай! – Он проворно откупорил пузатую бутылку бренди, его руки чуть дрожали. – Теплынь! Круглый год лето! Я вот так хожу круглый год, представляешь?

Он сидел в мятых шортах и расстегнутой рубашке полувоенного образца. В пегой от седины бороде прятались какие-то крошки, среди амулетов и цепей на мохнатой груди висело обручальное кольцо бывшей жены. Маринка, уходя, вернула его. Я был свидетелем на их свадьбе.

– В Москве – гнусь! Слякоть! А тут... – Он щедрым жестом обвел спящую под нами парковку. – Мне две штуки за мою халупу на Грузинской платят, тут такие бабки просто невозможно потратить!

Он пьянел на глазах.

– Все тут по три доллара! Все! Вот... – Он щелкнул ногтем по бутылке. – Коньяк! Лучше французского... Три доллара! Килограмм свинины – ши-икарной! Парная мякоть, ни косточки, ни жиринки! Сколько, а?

– Три доллара, – без энтузиазма ответил я.

– Точно! Три доллара!

Дом Шухова-старшего я нашел без труда. Он стоял на горе между двух черных, как обгорелые спички, кипарисов. Театральным фоном синело отчаянно пустое небо. Я вытер лицо ладонью – Кипр оказался пыльной и потной дырой. Вчерашний коньяк за три доллара тоже давал о себе знать. Близился полдень, солнце заползло в самый зенит, безжалостно лишив пейзаж даже намека на тень.

На подходе мне воображалась просторная вилла с колоннами, посыпанные колотым кирпичом рыжие дорожки, невозмутимый мулат-дворецкий в чалме и в белоснежных перчатках. Череда пальм, кованая ограда, ну что там еще? Пара пятнистых догов с чуткими лицами? Действительность, как оно и бывает обычно, разочаровала.

Впрочем, пальмы были – две. Была и ограда, правда, не кованая, был дощатый невысокий забор, крашенный белилами. Краска от пыли казалась сизой и в крапинку, как перепелиная скорлупа. Я открыл калитку. Из коренастого дома, слепого, под плоской черепичной крышей, с уродливой спутниковой антенной рядом с кирпичной трубой, доносился настырный говор русских новостей. Я обошел дом, по щербатому углу, цепляясь за побелку, карабкался дикий виноград. Невыносимое пекло превратило ягоды в сморщенный изюм.

Дядя Слава устало сидел под вертикально палящим солнцем, загорелый до медной красноты, грузный, в синих спортивных трусах; за его полированной лысиной топорщила зеленые пальцы коренастая пальма, рядом изумрудным прямоугольником сиял десятиметровый бассейн. Дядя Слава дремал. Он бессильно уронил руку, пальцы разжались, на кафель беззвучно выскользнула русская газета. Массивный, как убитый носорог, Шухов напоминал опального римского центуриона, сосланного в дикую провинцию, выжженную, пыльную и абсолютно безнадёжную.

Каюсь, я почти решился сбежать. Мне вдруг стало невыносимо стыдно, такое острое чувство, знаешь, хоть сквозь землю. Стыдно за него, за себя, за всех нас – людей.

Но он проснулся. Внезапно открыл глаза и, как всякий спящий, застигнутый врасплох, начал излишне бодро и много говорить, делая вид, что вовсе и не спал.

– Как чудесно! Молодец! Молодец, что наконец добрался! Венька говорил, что ты... да, но когда, когда... А ты вон – тут! Будем шашлыки сегодня по такому случаю жарить! Ты не представляешь, тут свинина – блеск! Ни жиринки – мякоть! И всего три доллара за кило. С ума сойти! Тут вообще все – три доллара! Коньяк отменный, не хуже французского, знаешь, сколько стоит?

Если бы я придумывал эту историю, то где-то тут и поставил бы точку. Дописал бы еще пару фраз с претензией на незатейливую философию, что-нибудь о зыбкости бытия, о фатальном стремлении мироздания к равновесию. Банальное утверждение: реальность груба и не ограничивается легкостью намека. Жизнь презирает сопливую акварель, она, засучив рукава, пишет маслом. Пишет пастоно, жирными мазками, открытым цветом. Любит контрастные сочетания – рядом с красным кадмием кладет зеленую изумрудку, к ультрамарину добавляет лимонный стронций.

Прошло несколько лет – семь? девять? одиннадцать? – время, как я уже говорил, штука хитрая: чем дольше живешь, тем меньше эластичности остается в этой необъяснимой материи – из гуттаперчевого оно постепенно становится деревянным, после – оловянным, а под конец – стеклянным. В октябре (это я помню точно) говорил с полужнакомой москвичкой по телефону, под конец, уже прощаясь, в скороговорке среди неважных и стандартно-вежливых фраз (непременно, если будешь у нас, и ты тоже, непременно) она, мимоходом обмолвившись, что Венька умер, добавила ледяное – ты его знал, кажется.

Кажется...

Я с размаху рухнул в прошлое. Оказывается, ничто не исчезло, все просто спряталось, затаившись под ледком. Услышать о смерти самого близкого друга твоей юности вот так, между прочим, да еще спустя пять месяцев после этой самой смерти – это ли не оплеуха всей твоей жизни, твоей совести, чистоплюйству и порядочности, которыми ты так гордишься!

Ты его знал, кажется?

Кажется, да.

В трубке пели короткие гудки, у меня не было воли нажать отбой, точно этот сигнал был последней пунктирной прерывистой нитью, соединяющей меня нынешнего – предателя, иуду и подлеца со мной прошлым – человеком относительно порядочным. Эта связь казалась жизненно важной. Как тот бегущий огонек осциллографа, что регистрирует биение сердца. Прерви ее – и уже не будет возврата к себе прошлому.

Беспощадно услужливая память воскресила проклятый Кипр, безнадежный полуденный свет, слепящие блики в малахитовом бассейне. Нокаут шока сменился осознанием новой боли – ведь я предал не только Веньку! Пять месяцев! Что он думал все эти пять месяцев обо мне?! Я зарычал и саданул кулаком в стену. Боль помогла. Слизиывая кровь, бросился к письменному столу. Выдернул средний ящик, вывалил содержимое на пол. Среди кучи пестрого канцелярского хлама – карандашей, ручек, фломастеров, ластиков и гитарных медиаторов, среди коробок со скрепками и кнопками, сломанных наручных часов и маленьких батареек, обрывков бумаги с таинственными номерами телефонов и именами напрочь забытых людей без фамилий, среди этого мусора я нашел карманную записную книжку. На черной коже тисненым золотом был выбит год из прошлого тысячелетия. Нашел Шухова – у Веньки было какое-то неимоверное количество телефонов. Свои собственные каракули, писанные не всегда трезвой рукой, разбирались с трудом. Верхний – самый первый номер, еще тот, родительский, на Пречистенке, я помнил и сейчас. К последнему, в самом низу, было приписано «д. Сл. – Кипр».

Не раздумывая, схватил телефон, – я боялся думать, знал, что запросто смогу найти дюжину логично ловких причин не звонить, не звонить сейчас, собраться с мыслями и позвонить потом. Все я знал – именно этими отполированными до блеска аргументами, скользкими, как морская галька, мелкая и звонкая, я научился мастерски ловко засыпать свою совесть. Закапывать, с горкой. Из телефона поплыли длинные гудки. Никто не брал трубку. Я ждал. Не включился неизбежный автоответчик. Я ждал. Гудки плыли и плыли. Безнадежно уносились в пустоту, словно я звонил в открытый космос.

Я брел по белому от зноя и пыли Пафосу. Покатая улица в трещинах с пучками желтой травы, спотыкаясь, спускалась к морю. Линялое, неподвижное и светло-серое, оно напоминало кровельную жесть. Справа виднелся приземистый отель, тоже скучный, похожий на недавно отремонтированный барак, перед ним толпились мелкие лавки с туристским хламом. Шляпы из соломы, майки, открытки. Развешенные, как для просушки, солнечные очки стреляли меткими зайчиками по неведомым мне мишеням. Покупателей не было, прохожих тоже. У тумбы с драными, выгоревшими афишами, в куцей фиолетовой тени, высунув розовый язык, спала рыжая собака. Пот противно стекал по спине, но куртку я так и не снял, моя рука сжимала теплое липкое горлышко бутылки с местным коньяком.

Вышел на безлюдный пляж, кое-где на лежаках коптились неподвижные тела разной степени прожаренности. Справа виднелись невысокие скалы, там кончался песок и начинался дикий берег, утыканный красноватыми камнями почти марсианского вида. Нутро мое постепенно заполняла липкая и тяжелая, как черный жирный дым, пустота. Я шел и шел, пока убогая цивилизация за моей спиной не скрылась из виду.

Три часа назад я прилетел, добежал до стоянки, взял такси. Все делал спешно, почти судорожно, словно боясь куда-то не успеть. Дом на горе был заколочен, бассейн затянут седым брезентом. На заборе висела яичного цвета доска с надписью «Продается!», тут же телефон агента. Агент оказался женщиной с театральными бровями, выведенными жирной сажей. На агенте был чуть ли не кримпленовый брючный костюм такого же яичного цвета, что и ее объявление о продаже.

Женщина появилась почти молниеносно, точно пряталась за углом. Подъехала на белом «Мерседесе», древнем, примерно моего возраста. С тем же смешным акцентом, но на куда более приличном английском, чем у таксиста, она скороговоркой произнесла заученный текст про гостеприимство киприотов, про Венеру и ее грот, про солнце и море, про невероятно гуманные цены на все, включая недвижимость. Под конец, жестом фокусника, извлекла откуда-то бутылку местного коньяка и сунула мне в немые руки. Короткое вступление заняло минут пять. Не останавливаясь, она перешла к основной части – продаже.

Мне все-таки удалось ее перебить. Она замолчала, сразу как-то постарела, стала еще меньше ростом. Я повторил, хотел что-то добавить для убедительности. Она молча вынула из желтой сумки круглые, как колеса, солнечные очки, надела. Дважды отразилось мое нелепое лицо, изогнутое, как в объективе «рыбий глаз». Мы стояли у забора, указательным пальцем она поправила доску «Продается!». Потом начала говорить, но другим голосом, низким и монотонным, таким в фильмах вещают медиумы. Ее глаз я не видел, только свое отражение.

Венька умер от рака печени. Наверное, это называется цирроз, не знаю, она сказала рак. Он отказался от лечения, после диагноза переехал сюда, – она кивнула за забор. К родителям. Через месяц после похорон скончалась его мать. Тетя Люся. Умерла во сне, в кресле перед телевизором. Дядя Слава лег спать, а она так и просидела мертвая до утра перед включенным телевизором, настроенным на Первый канал российского телевидения. Сам дядя Слава умер совсем недавно, два месяца назад. Его сожгли – он так просил, – пепел развеяли над морем. Она говорила еще что-то, но я уже не понимал ни слова. Я повернулся и пошел в сторону моря.

Я забрался на коричневый валун, похожий на пьющего бизона. Залез на самую холку, задыхаясь, содрал с себя куртку, стянул мокрую рубаху. Горло мне свела судорога, я сипло втягивал воздух, горько-соленую вонь сырых водорослей, гниющих на камнях. Вдруг ясно вспомнил последний разговор с дядей Славой, наш самый последний разговор. В каждом слове внезапно проявился скрытый смысл, чуть ли не пророчество. Как же я тогда ничего не понял? Ведь так ясно!

Я опустил, камень был теплым, как человеческая плоть. Скрутил пробку, запрокинув голову, начал глотать коньяк. Нагретое пойло мешалось со слезами, я давился, но пил. Липкие струи щекотно стекали по шее, капали на грудь, на джинсы. Внизу, шипя пеной, равнодушно

ворчало Средиземное море. Море, в котором нам так и не удалось поплавать с аквалангами, не получилось поохотиться на макрель. Море, в котором он растворился. Горизонт потемнел, постепенно исчезла граница между водой и небом, теперь уже было не разобрать, где кончается мир земной и начинается мир небесный.

Тогда дядя Слава мне сказал: «Не благодари меня. Я не сделал для тебя ничего особенного. Ты бы сам поступил точно так же. Может быть, в этом и есть смысл жизни – помочь другу другу с наименьшими потерями добраться до кладбища, а?»

Алиса Лунина

Писать книги я начала еще в детстве, тогда же и захотела стать писательницей; правда, от детства до исполнения мечты мне пришлось прожить целую взрослую жизнь! И все-таки однажды моя детская мечта исполнилась: придуманные мной истории стали выходить в виде книг, а некоторые легли в основу художественных фильмов. В своих книгах я и пишу о том, что наши мечты, если очень в них верить и идти к ним навстречу, – непременно сбываются!

Письма к Орфею

Я всегда считала чувство благодарности явлением самого высшего порядка. Мне кажется, что способность его испытывать, быть благодарным кому-либо или чему-либо и делает нас людьми. Благодарность – объемное, сложное понятие, мы все понимаем и переживаем это чувство по-своему, но каждый из нас хотя бы раз в жизни кому-то искренне благодарен; в каком-то смысле вся наша жизнь – благодарственная ода.

Что до меня, то у моей благодарности совершенно разные поводы и разные адресаты. К примеру, я бесконечно благодарна персоналу одной поселковой больницы, куда я как-то попала во время путешествия по стране, с маленькой, внезапно заболевшей дочерью – там нас, не спрашивая документов, приняли, оказали всю необходимую помощь и были добры и внимательны. Я благодарна своим животным – собаке и кошке, за то, что они прожили рядом со мной свой звериный век и научили меня любви и верности. Я благодарна своим близким людям за то, что они такие, какие есть – с достоинствами и милыми недостатками. Я готова каждый день благодарить свою дочь за счастье общения и обретенную благодаря ей возможность вновь и вновь возвращаться в собственное детство. Я благодарна судьбе за то, что родилась в нашей удивительной и немыслимой стране, а этой стране за то, что она стала моей судьбой.

...Разные истории, разные поводы для благодарности, иногда я говорила «спасибо», иногда по каким-то причинам не могла этого сделать... Но я думаю, что искренняя благодарность, даже если она осталась невысказанной, прорастает в нашей душе нежным цветком и рождает в нас желание передавать добро дальше – другим людям. Делать что-то хорошее просто так. И тем самым говорить «спасибо» тому человеку, которого мы не смогли или не успели поблагодарить.

И, конечно, чувство благодарности зачастую неразрывно связано с любовью – еще одним чувством высшего порядка, которое делает нас людьми.

Испытывая бесконечную благодарность к одному близкому человеку, который доверил мне подлинную историю из своей жизни, я хочу рассказать ее вам. Историю о том, как благодарность странно и удивительно претворяется в любовь...

Вот она...

Закончив перевод на русский язык статьи из немецкого издания, тридцатисемилетний переводчик Павел Беликов решил отдохнуть и после обеда отправился гулять. Погода, впрочем, мало располагала к прогулкам – нынешний октябрь в Петербурге выдался холодным. С Невы дул мощный балтийский ветер, а затянутое свинцовыми тучами небо разразилось дождем. Павел прошелся вдоль Мойки, побродил по пустой Дворцовой площади, потом вышел через арку на бурлящий Невский и в плотном людском потоке дошел до большого книжного магазина, любимого им еще с детства. Павел любил саму атмосферу старого книжного, ему нравилось приходить сюда, отыскивать редкие книги, выбирать очередные энциклопедии и словари (коих у него уже было бесчисленное множество). Еще ни разу не было так, чтобы он ушел отсюда, ничего не купив, обычно пакеты, полные прекрасных книжных трофеев, приятно оттягивали ему руки. Вот и на этот раз Павел выбрал несколько книг.

Уже собираясь уходить, он заметил редкий альбом с ретрофотографиями и, потянувшись за ним, нечаянно смахнул с соседней полки какую-то книгу. Подняв ее и увидев, что это томик поэзии немецкого поэта Райнера Рильке, Павел улыбнулся: не далее как сегодня утром он уже «встретился» с Рильке, получив письмо по электронной почте от своего немецкого коллеги Майкла. В письме Майкл, большой интеллектуал и любитель изящного, процитировал отрывок Рильке из «Сонетов к Орфею». Изящная, отточенная фраза из этого отрывка, наполненная смыслами, мгновенно врезалась Павлу в память и вызвала желание прочесть сонеты

целиком. Павел полистал книгу, чтобы посмотреть, есть ли в ней «Сонеты к Орфею», и вдруг увидел среди страниц лист бумаги, испещренный аккуратным почерком. Павел машинально пробежал по нему глазами. В этой странной записке некто, переписав от руки одно из стихотворений Рильке, поделился своими мыслями о нем. Павел застыл с запиской в руках, не зная, как это все понимать. Тем не менее в этой записке было нечто, что произвело на Павла впечатление – ему казалось, что неведомый автор обращается лично к нему (раз уж эта записка попала в его руки!) с каким-то призывом или просьбой о помощи. Удивительным Павлу показался и тот факт, что он второй раз за день слышит о Рильке. Подумав, Павел решил купить эту книгу, тем более что Рильке в его библиотеке не было.

Он отнес томик на кассу, но продавец, оглядев книгу, сказала, что на книге нет штрих-кода и она не значится в базе магазина. «К тому же книга не новая, это старое здание! Где вы ее взяли?» – проворчала кассир. Павел недоуменно пожал плечами – странно... Откуда она здесь взялась? Кто-то принес и поставил? Зачем? И зачем в книгу вложили записку? Павел отнес книгу к стеллажу, где она раньше стояла, и поставил ее обратно на полку. Записку же Павел забрал с собой.

По пути домой он зашел в кофейню и, попивая крепкий двойной, несколько раз перечел записку. Стихотворение Рильке, переписанное таинственным автором послания, звучало в унисон и с мыслями Павла, и с этой поздней осенью. Строки горчили, как слишком крепкий кофе, но в них была и светлая печаль, и правда предельного одиночества. Павел понимал, о чем говорил немецкий поэт, – да, одиночество звезды, пять океанов одиночества... Примерно то состояние, что сейчас ощущал и он сам в этой кофейне с видом на серую Фонтанку. В конце концов, можно сидеть в кафе в центре Петербурга и чувствовать себя таким же одиноким, как на необитаемом острове где-нибудь посреди океана.

Он закурил и тут же поймал укоризненный взгляд бармена. Вспомнив, что в России ввели запрет на курение в «общественных местах», Павел затушил сигарету. Что поделаешь – он недавно вернулся в Россию после восьми лет жизни в Германии и еще не привык к тому, что здесь теперь отчаянно стремятся устроить как «в Европе». Он вообще пока ко многому здесь не привык, или вернее сказать – многого не узнавал.

...После учебы в университете Павел почти сразу уехал работать в Германию – ему хотелось попробовать себя в профессии, и да – сделать карьеру.

В «новой версии пространства» нужно было постоянно, как говорят в социальных сетях, «обновлять статус» и яростно доказывать себе, работодателям и всему миру, что ты можешь, что ты интересен и актуален. Бешеный темп жизни, словно беговая дорожка, по которой ты бежишь, – сломалась – остановиться невозможно; времени на размышления и ностальгию по Родине и прошлой жизни у тебя просто нет. Даже с матерью, оставшейся в Петербурге, за эти восемь лет Павел виделся всего несколько раз: дважды он приезжал в Питер на неделю, дважды мать навестила его в Германии. Неся бремя «единственного сына», он, конечно, переживал, как она там одна, звонил ей чуть ли не каждый день, исправно посылал деньги (за что она на него неизменно обижалась), предлагал ей переехать к нему, но вот приезжать чаще не мог. Ему казалось, что они еще успеют увидеться, что впереди у них долгая жизнь...

Планы и новые профессиональные достижения, карьерный рост, а потом вдруг раздается звонок, и ты становишься «непоправимо несчастен». Известие о смерти матери вырывает тебя с корнем из жизни, какой бы прочной ни была твоя корневая система. Лавиной накрывает отчаяние и боль... И чувство вины – ну да, она немного болела в последнее время, но ничего серьезного, ничего серьезного... Или это она так говорила, чтобы не тревожить тебя?

...Через три дня Павел стоял на Смоленском кладбище у свежей могилы. Все разошлись, оставив его одного. И вдруг оказалось, что все теперь потеряло смысл: успехи, карьера, жизнь. Темнело. Ветер яростно гнал листья. В воздухе витал горький запах костров – русский запах.

Павел почти отвык от него. В висках пульсировала кровь: не успел, ничего не успел, и теперь уже никогда не позвонить, не обнять, не сказать ей спасибо за все, что она для него сделала, и еще – охраняющая сила материнской любви! – сделает. И это запоздалое спасибо застыло внутри ледяным комом. Холодно. Как холодно... Вернувшись с кладбища поздно вечером, Павел слег и заболел. Неделю он провалялся с тяжелой простудой, а когда пошел на поправку, понял, что будет жить в России. Однако нужно было вернуться в Германию, чтобы решить кое-какие вопросы, связанные с переездом.

В Германии все, впрочем, решилось быстро: он уволился с работы, собрал вещи, простился с подругой, с которой они были вместе два года (расстались легко, в один миг – без упреков и обид, как расстаются порядочные люди, когда в их отношениях уже нет любви или, вернее, когда в их отношениях никогда и не было любви), и уехал в Россию, словно закрыл занавес завершившегося спектакля с голубоглазой героиней, исполнявшей роль его подруги (как там ее звали, Гретхен или Брунхильда), разыгранного в декорациях сонного немецкого городка.

И началась его новая жизнь... Пустая квартира в центре Петербурга, где все напоминало ему о матери, и одиночество – пока он жил в Германии, прежние друзья куда-то «разбрелись»: кто уехал из города, кто с головой ушел в свои дела и семьи. Ему нужно было учиться жить в этом состоянии абсолютного одиночества.

И вот – осенний Петербург, серая Фонтанка, какая-то странная записка в руках... Усмехнувшись, он вновь перечел ее и на сей раз пришел к выводу, что само стихотворение Рильке прекрасно, мысли неведомого автора занимательны, а вот перевод стихотворения оставляет желать лучшего.

Вечером Павел нашел оригинал стихотворения на немецком, и, долго вчитываясь в волшебные строки, перекатывая звучные немецкие слова на языке, вдруг почувствовал, что стихотворение можно иначе передать на русском, и неожиданно для самого себя взялся за перевод. Несмотря на то, что прежде он никогда не переводил поэзию (хотя прозу – случалось), это занятие увлекло его. Он продирался сквозь плотную вязь текста, образы и метафоры, мучительно подбирал слова, словно открывал их заново, и, наконец, через пару дней его собственный перевод был готов. Павел переписал его от руки и вечером того же дня отправился в книжный магазин. Отыскав на знакомой полке ту самую книгу Рильке, он оставил в ней между страниц свой лист с переводом, будто включившись в какую-то странную игру, правила которой ему пока были непонятны.

Когда через неделю он вновь пришел в магазин «проведать» знакомую книгу, его записки с переводом в ней не оказалось. Зато там была новая записка. Некто, поблагодарив его за перевод, признал, что этот вариант гораздо полнее раскрывает смысл стихотворения, его глубину и саму суть одиночества. Павел тут же вырвал лист из блокнота и написал ответ, процитировав в нем фразу Рильке об одиночестве в любви. «Lieben heisst allein sein. Любить – значит быть в одиночестве» и добавил, что согласен с Рильке в том, что одиночество – это своего рода гипсовая повязка на душу, которая что-то лечит. Павел вложил свою записку в книгу и ушел.

Через неделю Павел достал из «книжного тайника» – книги, ставшей своеобразным «почтовым ящиком», ответное послание. Его невидимый собеседник на сей раз разразился целым письмом, в котором рассуждал о любви и одиночестве. Читая письмо, Павел улыбался – этот некто, кто бы он ни был, рассуждал изящно и умно и, безусловно, знал предмет рассуждений, иначе говоря, этому человеку было знакомо состояние одиночества.

Так и повелось, – примерно раз в неделю Павел заходил в книжный магазин, выбирал для себя книги, а потом наведывался к знакомой полке – оставлял свое послание или забирал ответ таинственного собеседника.

Они писали друг другу о разном; иногда это был просто обмен фразами, заключенными в коротенькие записки, иногда они пускались в пространные рассуждения на ту или иную тему. Сначала Павел отчасти смущался этой странной переписки, полагая, что все это несусветная глупость, недостойная взрослого мужчины (развели подростковую игру!), но потом успокоился, поняв, что на самом деле причины, по которым он включился в эту игру, вполне понятны. Вернувшись в Россию, он отчаянно пытался найти точку опоры, построить новый мир, а тут вдруг письмо из «ниоткуда» – словно упало с неба; понятно, что это событие удивило его и заставило включиться в диалог. Как бы там ни было, в абсолютном одиночестве его новой петербургской жизни эти письма стали для него возможностью беседы с тонким, умным собеседником. Кроме всего прочего, Павлу было приятно получать рукописные письма, хранящие тепло рук, индивидуальность почерка. Пользуясь электронной почтой, Павел тем не менее считал, что, постоянно используя клавиатуру, теряя сам навык письма, утрачивая почерк, мы в каком-то смысле теряем свою индивидуальность; ему было приятно писать кому-то письма от руки и получать в ответ такие же «живые», читать их «между строк», обращать внимание на настроение автора, подметив, что здесь буквы с легким завитком, а тут неровные, словно бы в этом месте автор письма волновался.

Естественно, с самого начала Павел задумывался о личности автора писем, пытался его представить. Он почему-то сразу решил, что это женщина. Однажды он даже почувствовал исходящий от письма запах духов (первоклассных, дорогих духов!) и обрадовался тому, что его догадка подтвердилась. Как-то, не удержавшись, он показал одно из писем своему знакомому, интересовавшемуся графологией: «Что скажешь об авторе?»

Тот внимательно изучил послание и пожал плечами:

– Женщина. Средних лет. Чувствительная, эмоциональная, но вместе с тем натура сильная и страстная... При этом не слишком уверенная в себе...

– Да-да, – улыбнулся Павел, – все так, как я и думал.

Он, впрочем, старался одергивать собственное воображение: «Возможно, я просто перечитал немецких романтиков и развел Шиллера там, где его нет. Может статься, моей героине лет шестьдесят, и у нее тонна лишнего веса и скверный характер?! А может, это вообще чей-то гнусный розыгрыш?!» Но ничего не поделаешь – его воображение коварно рисовало красивую тонкую светловолосую женщину лет тридцати с детскими запястьями и длинными пальцами. «Как ее зовут? Чем она занимается? – думал Павел. – Что она любит?»

Она звалась Татьяной, и была тонкой и светловолосой, как и грезилось Павлу, правда, она была чуть старше, чем ему представлялось, – ей было тридцать шесть. Татьяна любила цветы (у нее росли даже самые прихотливые фиалки), театр, кофе и книги. Да! – еще книжные магазины. Особенно огромный книжный в центре города, где можно было надолго потеряться среди бесчисленных книг, а после прийти в кофейню, расположенную здесь же, и, попивая кофе, рассматривать купленные книги. Татьяна считала, что без книг и кофе жизнь была бы скучна и невыносима. Запах кофе, шелест страниц – как в ее детстве...

...Вначале было слово. Слова разрастались в страницы, страницы – в книги, книги – в эмоции, чувства, жизненный опыт.

Татьяна рано начала проявлять интерес к книгам; еще не умея читать, она ползала у стеллажей отцовской библиотеки и, исследуя нижние полки, брала книги, до которых позволял дотянуться ее рост; по мере взросления она осваивала новые, «высокие» полки. Научившись читать, читала много, запоем; тем более что вскоре чтение стало еще и возможностью общения с любимым отцом. Отец – профессор, доктор исторических наук, был целиком сосредоточен на работе и даже выходные проводил, запершись в кабинете. Когда Татьяне исполнилось десять, она добилась у отца разрешения находиться с ним в его рабочие часы в кабинете, пообещав, что будет тихо читать рядом. Так и повелось: она приходила в отцовский кабинет

с какой-нибудь книгой и читала, пока отец работал, закопавшись в увесистых томах и кипах бумаг. Иногда отец прерывался, чтобы сварить себе кофе, а Татьяне горячий шоколад, а потом оба снова погружались в свои миры: отец открывал очередную «Трою», девочка – очередную книгу. Несмотря на то что они занимались разными делами, эти совместные часы объединяли их. В памяти Татьяны навсегда сохранилось: устойчивый запах кофе, покашливание отца, шуршание страниц – счастье.

После смерти отца (он умер, когда ей было четырнадцать) его книги в каком-то смысле стали возможностью общения с ним. Татьяна по-прежнему приходила в отцовский кабинет, пролистывала его книги, читала заметки на полях, сделанные его рукой; это был разговор с любимым, близким человеком. В год после смерти отца она много читала, книги помогали справляться с отчаянием. Она испытывала буквально физическое наслаждение, открывая новую книгу, вдыхая запах страниц, слушая их шелест. К десятому классу выбор профессии был для нее определен – она поступила на филфак. Книги и кофе, музыка и театр – и больше человеку ничего не нужно для счастья. Вот разве что любовь.

Любовь пришла, когда Татьяне было двадцать. Со своим будущим мужем Сергеем она познакомилась на выставке, посвященной оформлению книг. Она пришла туда, движимая интересом к теме выставки, он – потому что был дружен с организаторами. Высокий брюнет лет тридцати подошел к ней и попросил поделиться ее впечатлением о выставке. Татьяна, как человек вежливый, впечатлением поделилась. Затем впечатлениями они делились друг с другом в ресторане, а потом – в супружестве. В их случае все как-то естественно и довольно быстро развилось одно в другое. Притом со стороны Татьяны к будущему мужу не было каких-то страстных чувств, скорее – симпатия, доверие, главное – он казался ей похожим на ее обожаемого отца (вероятно – интеллектом, серьезностью, тем, что он был много старше ее). Позже, спустя несколько лет, Татьяна поймет, что никакого сходства между Сергеем и ее отцом нет, и что-то в ее отношении к мужу навсегда изменится.

Закончив филфак, она не стала работать по специальности. Сергей считал, что она должна сидеть дома и вести домашнее хозяйство: «Сиди дома, готовь мне обеды, читай книжки». И Татьяна, как примерная жена, последовав его желанию, много лет просидела дома: пироги, обеды, фиалки и книги. Со временем Сергей стал большим руководителем. К серьезной должности прилагались ответственность, частые командировки и молодая красивая секретарша. Сергей все чаще приходил домой поздно, за полночь, и если сначала – с виноватым лицом, то потом – как ни в чем не бывало. В последнее время они жили словно каждый на своем острове. Татьяна знала, почему Сергей от нее не уходит: он благодарен ей за то, что в свое время она не ушла от него, узнав, что у него не может быть детей. Тогда, десять лет назад, она сказала ему, что они будут жить друг для друга, и муж благодарно сжал ее руку. И вот теперь он не уходит от нее из-за чувства благодарности. Эта его благодарность с годами стала удавкой на шее и для нее, и для него, но на развод оба не могли решиться. Татьяне бы уйти самой, но страх одиночества и сила привычки останавливали, и поэтому – ужин из трех блюд, безупречно выглаженные рубашки мужа и четкое правило не устраивать никаких сцен. Их с мужем параллельное одиночество во времени – вот чем стала для Татьяны ее семейная жизнь. Однажды Татьяна прочла роман о героине, которая считала себя книгой, забытой кем-то на скамейке в парке, и сочла, что это про нее. Она и есть такая книга, которую никто никогда не раскрывал. Ее муж даже не догадывался о том, что это можно сделать.

Но ведь было в ее жизни что-то еще, кроме неудавшегося брака?! Было. Книги, и с некоторых пор – странные письма...

История с письмами началась именно с книг. Подумав, что книги можно не только читать (не зря в мире существует столько ролевых игр, созданных по мотивам любимых книг), Татьяна

пару лет назад заинтересовалась буккроссингом – «путешествием книг». Ей понравилась сама идея игры – любой желающий мог «выпустить» в мир свою книгу, оставив ее в кафе, в парке, в магазине – где угодно, затем разместить информацию об этом на специальном сайте и впоследствии отслеживать перемещения этой книги по свету – ее путешествие «из рук в руки». С помощью буккроссинга Татьяна отправила в путь несколько книг – так ее Платонов уехал на Урал, Кафка в итоге оказался в Иркутске, а ее любимица – писательница Тэффи отправилась в Прагу («Хорошо ей там гулять по мощеным пражским улочкам!»). Татьяне было интересно отправлять книги, словно письма, и следить за их судьбой (ведь у каждой книги, как у человека, собственная судьба), но потом ей захотелось придумать какую-то свою игру, нечто оригинальное. Она подумала, что если с помощью буккроссинга книга может быть письмом в каком-то косвенном смысле, то почему бы не сделать ее письмом в буквальном смысле? Скажем, написать письмо кому-то, кого ты не знаешь, и, вложив его в книгу, отправить в «никуда»? А попадет ли оно кому-нибудь в руки или останется непрочитанным, пусть распорядится судьба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.